

A. P. ...

...

Константин Михайлович Станюкович

Червонный валет

Рассказ, по словам Станюковича, был написан по “горячим следам” уголовного процесса над “Червонными валетами” – молодыми авантюристами из привилегированных слоев общества.

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0010
III.....	.0018
IV.....	.0026
V.....	.0030
VI.....	.0044
VII.....	.0052
VIII.....	.0058
IX.....	.0067
X.....	.0072
XI.....	.0075
ПРИМЕЧАНИЯ ЧЕРВОННЫЙ ВАЛЕТ.....	.0078

**Константин Михайлович
Станюкович
Червонный валет**

Жорж рос здоровым, краснощеким мальчуганом, с прелестными белокурыми локонами и большими томными, черными глазами. Знакомые дамы находили Жоржа прелестным ребенком; часто щекотали маленькими пальцами его подбородок и звонко чмокали в его сочные, румяные губы, вызывая краску удовольствия и стыда на мягкие, круглые щеки тринадцатилетнего мальчика. Адъютанты и подчиненные его отца носили Жоржу конфеты и сладкие пирожки и нередко называли Жоржа при родителях умным мальчиком, так что Жорж очень рано привык считать себя прелестным и умным существом.

Мальчика одевали роскошно, хотя, случалось, забывали подолгу менять белье, кормили на убой, часто меняли гувернанток и нянек и затем не обращали на него никакого внимания. Да и некому было. Отец Жоржа, высокий, старый, суровый генерал достопамятной крымской эпохи[1], снимавший казенной меркой ширину солдатских подметок, – по утрам бывал занят службой, вечера

проводил за картами и особенной нежностью к детям не отличался. Официальное: “доброе утро, папенька”, с поцелуем руки утром, и такое же приветствие вечером – вот и все первоначальные сношения ребенка с отцом. К тому же ребенок боялся отца. Его суровый вид, его седые, торчащие тараканьи усы, мутный взгляд оловянных глаз, вспльчивые окрики: “я тебя!” наводили на мальчика такой трепет, особенно в первые годы его детства, что после каждого прихода в темный, мрачный кабинет с пожеланиями доброго утра и доброго вечера мальчику переменяли панталончики[2]. Так страшна казалась ему высокая, сухая фигура генерала, заставлявшая трепетать не только ребенка, но и всех взрослых в этом доме. Впрочем, этот трепет понемногу проходил. Мальчик хотя и боялся, но менее трепетал отца, умея найти в нем слабые стороны, которые и эксплуатировал довольно ловко для ребенка своих лет.

Мать, полная, добродушная женщина лет за сорок, любила без памяти Жоржа, этого Вениамина семейства[3], с рождением которого отношения супругов приняли совершенно

иной характер. После родов Жоржа генерал нашел, что жена не в меру полна, дрябла и стара, и прекратил посещения ее половины. Генеральша обезумела и стала чаще страдать приливами крови и необузданными припадками ревности. Первое время она с пеной у рта, в одной юбке врывалась в кабинет мужа и требовала объяснений. Тогда происходили ужасные сцены. Сперва муж сдерживал себя, молча выслушивая бестолковый лексикон ругательств, но, когда бешеная женщина теряла всякую меру, седые усы шевелились как-то скоро и страшно, лицо бледнело, скулы быстро двигались, и он глухо произносил: “уйди!” Она, разумеется, в ответ посылала проклятия, а он бешено заносил руку...

Из кабинета раздавались отчаянные истерические рыдания; мать металась по полу и наконец замирала в обмороке. Маленький Жорж не раз подглядывал эти сцены и жалел мать.

После таких сцен генеральша, казалось, еще более привязывалась к своему последышу. Засовывая ему в рот сласти и обливаясь градом слез, она невольно изливала свои жа-

лобы на отца перед сыном и как-то невзначай, сама не понимая, что делает, посвящала его в свои тайны. Мать баловала сына, потакала капризам, рядила в дорогие курточки, мотала вместе с ним деньги на сласти, иногда возилась с ним подолгу, забавлялась, как дитя игрушкой, иногда забывала, что не видала его по целым дням. Она выезжала, принимала гостей, читала французские романы и с каким-то наслаждением поруганного женского самолюбия занималась наблюдениями за любовными интригами мужа. И в этом занятии Жорж мало-помалу сделался ее хорошим помощником. Сперва мать под благовидными предложениями посылала Жоржа к отцу, с целью заставить его врасплох, но мало-помалу посылки эти стали повторяться без всяких предлогов, и дело дошло наконец до того, что мать с сыном нередко совершенно серьезно обсуждали сообща какой-нибудь новый план засады, из которой Жоржу можно было бы хорошо рассмотреть, как отец целует и щиплет гувернантку.

Гувернантки у Жоржа менялись очень часто. То сами уходили от преследований гене-

рала, то оставляли дом вследствие ревнивых придирок и дерзостей генеральши. Генерал не давал им спуска. Он как-то выписывал всегда хорошеньких гувернанток и был мастер немедленно становиться с ними на короткую ногу. Та же история бывала и с няньками.

Сангвиник по характеру, генеральша быстро отдавалась впечатлениям. Точно ребенок, она удивительно скоро переходила от гнева к ласке, от слез к смеху. Часто, слушая отчет Жорженьки о том, как папенька в коридоре “обнимал и щипал” новую “няню Дашу”, мать хохотала до слез, заставляя Жорженьку повторять рассказ о похождениях “старого развратника”, как она всегда за глаза называла своего мужа. Жорж повторял и подчас присочинял подробности, мелькавшие в его воображении... Благодаря этим беседам с матерью, инстинкты мальчика просыпались ранее времени, и Жорж уже подолгу льнул к губам знакомых дам, целовавших “прелестного малютку”, и краска, являвшаяся при этом на его круглые щеки, не была краской стыда.

Отец нередко давал Жоржу пощечины, дорал за уши и, случалось, секал. Но причины наказаний были до того разнообразны, что разобраться в них и выискать какую бы то ни было руководящую идею было совершенно невозможно. Иногда мальчика наказывали за разорванный воротник рубашки, иногда проходил даром раскрытый лоб дворового мальчишки. Раз высекли за то, что он солгал, другой раз простили за то, что украл какую-то безделку у своей тетки. Генерал особенно не любил, когда разбивали или портили вещи, и за это всегда наказывал.

Жорж был не столько от боли, сколько от стыда и злости, и искал случая поймать отца в его шаловливых похождениях. Он ласково упрашивал Каролину Карловну, свою молоденькую гувернантку, идти с ним после обеда, в шесть часов, гулять в большой сад сзади дома и, отпросившись в оранжерею, оставлял гувернантку одну на скамейке в тени аллеи за книгой и убегал назад следить за приходом отца. Скоро резкий, отрывистый кашель да-

вал знать, что отец в саду – он всегда гулял в эти часы, – и Жорж, заметив отца, осторожно обегал к тому месту, где сидела Каролина Карловна, забивался в кусты и, притаив дыхание, ждал с нетерпением интимных сцен.

Генерал, заметив блестящее под лучами заходящего солнца женское платье, шел на него, как мотылек на огонь. Пугливо озираясь, он садился около и начинал какой-то странный, обрывистый разговор. Мальчик напрягал свой острый слух, и до его ушей долетали отрывочные фразы с привычной резкостью казармы, несколько смягченной близостью женщины и процессом ухаживания.

Кровь стучала в виски маленького шпиона. Он ловил обрывки фраз и нетерпеливо ждал обычного перехода от слов к делу.

– Мальчик где? Бегает?

– В оранжерее...

Скверная, торжествующая улыбка скашивала лицо “прелестного мальчика” при этих словах. Он напряженной вытягивал шею.

Опять доносился резкий шепот, раздражавший возбужденные нервы Жоржа.

– Сегодня придете?

– Она... Следит... Мне... Не знаю...

– Милая... приходите!

– Оставьте... Как можно... Заметят...

Генерал обнимал Каролину Карловну и молча, как зверь, целовал ее. Она тихо вырывалась, шептала какие-то неясные слова... Он не слушал ее лепета и, не роняя слова, продолжал молча щекотать подбородок, целовать лицо, шею...

Среди тишины сада до мальчика долетали таинственно заманчивые звуки, усиленное дыхание, какая-то глухая возня. Он видел все и в то же время ничего не видал. Какой-то туман заволакивал глаза, кровь прилиwała к голове, и он, обливаясь потом от внутреннего волнения, снова напрягал зрение, пожирая глазами туманную картину. Он восхищался, трепетал и злился. Он готов был броситься к отцу и в то же время замирал от страха при мысли, что его заметят. Он на секунду закрывал глаза, чтобы, снова открыв их, полнее насладиться зрелищем. Так пьяница на время оставляет вино, чтобы найти в нем новую прелесть.

Осторожно, задерживая дыханье, как

мышь в близком соседстве кота, бережно раздвигая ветви кустов, он отполз назад, поднялся, перевел дух, бегом обежал две аллеи и, с видом шаловливого, невинного мальчика, разлетелся по боковой тропинке со всех ног к скамейке и остановился, как вкопанный, будто испуганный присутствием отца.

Генерал быстро отдернул руку от талии гувернантки, как-то заискивающе, с видом только что высеченного школьника, взглянул на Жоржа и тотчас опустил глаза. Ловким движением руки поправив прическу, гувернантка искоса бросила ласково-боязливый взгляд на мальчика. Щеки ее горели, глаза точно убегали внутрь. Наступили те ужасные секунды невыносимого положения, когда каждый понимает, что другой видел и понял свершившееся, но в то же время каждый делает вид, что он ничего не видал и ничего не знает.

– Где бегал? – резко спросил отец.

– В оранжерее, папенька. Какие там ананасы! – воскликнул мальчик с деланным восторгом. – Федор говорит, что к воскресенью поспеют.

– Большие, Жорж? – спросила, в свою очередь, гувернантка, чтобы что-нибудь спросить.

– Огромные... вот какие, Каролина Карловна! – оживленно рассказывал Жорж, радостно глядя на смущенное лицо Каролины Карловны.

– Напомни мне о них, Жорж... напомни! Да!.. – Тут генерал перевел дух, словно в горле поперхнулось. – Да... Ты все просился в цирк! Вот тебе, сходи в цирк, мальчик, сходи! – как-то скоро проговорил отец, вынимая из бисерного кошелька новенький серебряный рубль и брезгливо отдавая его Жоржу.

С этими словами генерал встал, пошел было по аллее, но, сделав несколько нерешительных шагов, вернулся, тронул Жоржа под локоть и сказал:

– В цирк завтра идти можно. Можно!.. Там лошади есть... лошади... Верхом на них ездят... хорошо...

Он выговорил эти слова неестественно, растерянно и, понизив вдруг голос, как бы мимоходом, не глядя на Жоржа, обронил глухим голосом, отходя от сына:

– Да не болтай... Матери вздору не болтай!..

И быстрыми, спорыми солдатскими шагами, звякая по песку подошвами, генерал удалился и скоро скрылся в боковой аллее.

Жорж любовно глядел на блестящий на ладони серебряный рублевик и смутно чувствовал какую-то гадость на душе. Конечно, он завтра пойдет в цирк – в цирке очень весело бывать, – возьмет с собою лакея Федьку, своего любимца, и купит лакомств, а все-таки эта серебряная монета словно прожигала ладонь, и ему хотелось скорей от нее избавиться, разменять ее, что ли, чтобы не видеть ее. И этот растерянный вид отца не доставил ему ожидаемого удовлетворения, а, напротив, кольнул его в сердце, именно кольнул. Несмотря на страх, он все-таки любил отца и теперь любит, но как-то не так, точно в любви оказалась прореха, из-за которой выглядывали школьнически бегавшие глаза отца, и этот блестящий, гадкий рубль, и эти глухие слова: “не болтай!”

“Ах, зачем я все видел!”

Сложный процесс мысли и чувств происходил в мальчике. Чувство раскаяния, боли за

отца, чувство стыда охватили теплом его детское сердце. Он как-то приник, швырнул от себя рубль и, тихо повернувшись, в раздумье побрел к скамейке. Когда он поднял глаза и увидел перед собою красивую Каролину Карловну, залитую багровым светом заходящих лучей, он бросился к ней и нервно зарыдал у нее на груди, как бы ища оправдания. Она пригрела его, ласково перебирая его шелковистые кудри, а мальчик тихо всхлипывал, убаюкиваемый ровным дыханием груди и ласковым щекотанием женских пальцев.

– Ты, Жорж, милый мой, не болтай. Не говори маменьке. Я тебя любить буду.

– Нет... нет... не буду... Я ничего не видал! – отвечал, нервно всхлипывая, мальчик.

А в голове пронеслось: “К чему она просит... ах, зачем? Она хорошая и отец хороший... я дурной... я один!”

Но Каролина Карловна вряд ли понимала, что делается с мальчиком. В ответ на его слова она с живостью заметила:

– Да и нечего было видеть. Папаша только подошел и спросил, где ты?

Мальчик привскочил.

“Зачем лжет она? Зачем?”

Он поднял на нее строгие, злые глаза. Она встретила их смеющимся ласковым взглядом и стала целовать его глаза. Жорж прикрыл их, как бы позволяя продолжать, потом отдернулся, затрепетал, как подстреленная птица, порывисто приблизил губы и стал покрывать горячими поцелуями лицо, шею, грудь Каролины Карловны. Она не противилась, не отшатнулась с ужасом от мальчика, а громко смеялась подзадоривающим смехом.

Когда они вернулись домой, Жорж вспомнил о брошенном рубле и ни слова не сказал матери о бывшей в саду сцене.

Четырнадцатилетний отрок вместе с шестидесятилетним отцом разделял благосклонность Каролины.

По какому-то безмолвному уговору между ними, тайна сохранялась со стороны мальчика бережно, и отец был обязан сыну за то, что в это время не было сцен ревности со стороны матери. Понял ли это старик, или это было делом Каролины, но только отец стал как-то мягче относиться к сыну и сквозь пальцы смотрел на его проделки, за которые прежде наказывал.

И мать Жоржа стихла на время, обманутая своим любимцем. На расспросы свои она получала от Жоржа ответы более или менее удовлетворительные и все ждала, что муж положит супружеский гнев на милость.

Занятия Жоржа шли своим чередом. К нему приходили учителя и оставались довольны его успехами; Каролина учила болтать по-французски и по-английски; знакомые дамы по-прежнему его ласкали, но он уже, с испорченностью развращенного маль-

чишки, иногда так взглядывал им в глаза, что они краснели под взглядом “прелестного малютки”.

Нередко в гостиной, где мальчика показывали гостям и лицемерие которой было уже знакомо Жоржу – при нем ни отец, ни мать не стеснялись бранить тех, кого в гостиной потом особенно ласково принимали, – Жорж убегал через двор в людскую и нередко проводил часы, наблюдая игру в три листика[4] и марьяж и слушая с видом опытного барчука двусмысленные сальности кучеров и лакеев. Он нередко сам начинал рассказывать о достоинствах Фионы перед Дашей и раз обмолвился таким выражением, что людская залилась громким смехом. Один только старый кучер Павел как-то строго, удивленно посмотрел своими серьезными серыми глазами на Жоржа и, сожалительно покачивая седой головой, заметил:

– Ай-ай, барчук, и вам не стыдно?

Жорж было сконфузился под взглядом серьезных глаз кучера, но боязнь показаться смешным перед другими лицами, бывшими в людской, заставила его нагло улыбнуться и, с

напускным нахальством, ответить:

– А тебе, старому, какое дело? Твое дело за лошадьми смотреть, а не за мной.

Павел только уныло как-то покачал головой и не сказал более ни слова. Лакеи одобрительно хихикали, что молодой барчук знатно отбрил вечно угрюмого Павла.

В доме забывали о Жорже, и только к обеду в людскую вбегала одна из горничных и торопливо звала Жоржа домой.

– Пойдемте, барчук, сейчас же за стол садятся. Скорей, барчук, скорей! – торопила его востроглазая горничная.

Жорж несколько ломался перед ней, желая показать, что он не боится, если и опоздает, и нарочно лениво приподымался с сомнительной кучерской постели, на которой валялся в своей бархатной курточке и валансьенах[5].

– Да ну же, Егор Николаевич, нечего нежничать... Пойдемте, а то из-за вас мне достанется.

Они схватывались за руки и бегом, с веселым хохотом, бежали через двор.

Жоржа чистили, причесывали волосы, и он входил в столовую с Каролиной, которая

чинно вела за руку чистого, милого, благовоспитанного мальчика. За обедом всегда были гости и родные. Генерал жил открыто и ел хорошо. Если он бывал в духе, шел веселый разговор, говорили о новых назначениях по случаю ожидавшейся восточной войны[6], передавали сплетни, рассказывали двусмысленные истории о местных дамах. Старший брат Жоржа, женатый, красивый полковник, не стесняясь присутствием жены и сестер, бойко рассказывал свои похождения на Кавказе, вызывая некоторыми подробностями веселый смех и улыбку на уста генерала. Каролина стыдливо опускала глаза. Жорж, с наивным видом непонимающего ребенка, вслушивался в оценку достоинств черкешенок. Обед проходил приятно: чувствовалась усыпляющая тяжесть от лакомых блюд и вина. Генерала ничто не рассердило, и, против обыкновения, ни один из лакеев не ждал после обеда собственноручной генеральской расправы за неисправности, и потому все лакеи были так же веселы, как и господа.

С приходом главного начальника в город С. [7] дом генерала оживился еще более. Нака-

нуне великой драмы, казалось, никто не предвидел будущих развалин. Приезжие из Петербурга штабные офицеры и адъютанты внесли за собой ту прелесть недосказанных слов, улыбок, жестов, которая особенно понравилась замужним сестрам Жоржа и другим дамам. Сам генерал как будто смягчился: стал веселей, внимательней, менее груб и резок и был в восторге от посещений важных лиц. Генеральша хохотала до слез, слушая самые скабрзные анекдоты и прочитывая свежие французские романы, привезенные петербургскими гостями. Сестры Жоржа наряжались и кокетничали; петербургские адъютанты снисходительно ухаживали для развлечения. В большом, густом саду, среди аромата цветов и зелени, часто пили по вечерам чай, и в темных сумерках теплой южной ночи раздавался веселый смех, женские недосказанные обмолвки, полуфразы, нежные намеки и хвастливые возгласы: “мы их шапками закидаем!”

На Жоржа эта атмосфера производила какое-то чарующее действие. Особенно поражал его приезжий молодой адъютант своими ма-

нерами, молодцеватой осанкой, изяществом форм, движений, слов... Он уже подражал ему, глядел ему в глаза с верой неопита[8] и ревновал к нему Каролину. Сидя поодаль от чайного стола, Жорж слушал, как адъютант перекидывался *bons-mots*[9] с одной молоденькой женщиной, и в то же время ревниво следил за Каролиной. Он увлекся адъютантом, обвел глазами и не нашел гувернантки. Он незаметно встал и пошел в глубь сада... В темноте мелькнуло у самой решетки белое платье...

– Это вы, Каролина?

– Я. Что тебе, Жорж?

– Что вы здесь делаете?

– Ничего... Видишь, смотрю на улицу. Надоело там.

Он стал около. От дома доносился веселый говор и смех. По улице, мерно ступая и звякая цепями, возвращались с работы на блокшивы арестанты. Они прошли, цепи звякнули тише, совсем тихо, и все смолкло. Только в ночной тиши раздавались от бухты протяжные оклики часовых: “слу-шай!” и вслед затем такой же ответ: “слу-шай!..”

– А пора тебе спать, Жорж... скоро десять часов! – заметила, вытирая слезы, Каролина.

– Вы о чем это, Каролина, плакали? О чем – говорите?

– Так, Жорж... Ну, пора!

– Нет еще... Вы скажите, о чем!

– Ну, скажу... скажу... Пойдем...

– А ты придешь за мной? – шепнул мальчик.

Она закрыла ему рот влажной рукой и приказала молчать.

– Придешь?

– Будешь умницей, приду! – рассмеялась Каролина.

– И с адъютантом без меня не будете говорить?

– Опять... тоже ревновать?.. – подсмеялась Каролина.

– Не смейтесь, лучше не смейтесь, смотрите! – пригрозил Жорж.

– Так я тебя и боюсь!

– Конечно, боитесь! – уверенно отвечал Жорж и пошел вместе с Каролиной к гостям.

– Приходи же скорей! – шепнул он после прощания с родителями и гостями. – Да рас-

скажи, о чем ты плакала! – тоном капризного тирана прибавил Жорж, уходя спать.

А в саду еще долго раздавался смех и уверенный говор, что “мы их шапками закидаем”.

IV

Через несколько дней у генерала был большой обед. Приехало много генералов, адмиралов и других офицеров. Жоржа одели в новую бархатную черную курточку и приказали хорошенько повторить стихотворение “Бородино”. Обедали с музыкой, пили много. Жорж обращал особенное внимание на самого почетного гостя, высокого, худощавого генерала, с умным лицом и коротко стриженными волосами. Он мало ел, саркастически улыбался, и, когда говорил тихим голосом, все слушали. Жорж заметил, что “старика” все побаивались, а генерал особенно почтительно ухаживал за ним. Когда после обеда вышли на балкон, генерал взял Жоржа за руку и представил старику.

Старик ласково улыбнулся, потрепал Жоржа по щеке сухими, длинными пальцами и промолвил:

- Молодец... учится?
- Как же, ваша светлость! – отвечал отец.
- Бойкий мальчик! – заметил другой генерал.

Жорж стоял среди балкона и не знал, что ему делать. “Старик” щурил глаза, прихлебывая из чашки кофе, и, казалось, не расположен был беседовать с Жоржем. Однако, видя неловкое положение мальчика и какое-то напряженное ожидание в лице генерала, проговорил:

– Молодец... молодец. В военную?

– Непременно, князь. Я буду военным! – с гордостью отвечал Жорж.

– Он и стихи более военные любит, ваша светлость! – подхватил отец. – Если позволите, мальчик почтет за честь...

Старик любезно кивнул головой и – Жоржу показалось – поморщился. Но делать было нечего. Отец уже кивал головой, и Жорж, откашлявшись, начал молодецким тоном:

*Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?*

Когда он кончил, старик снова потрепал его по щеке, снова назвал “молодцом”, и Жорж ушел с балкона, провожаемый общим

одобрением гостей, чувствуя себя несравненно выше и лучше оттого, что его похвалил сам “старик”. Жорж заметил, что отец его, прослезившись от умиления, взглянул на мальчика так, как будто он свершил какой-нибудь подвиг. Жорж серьезно почувствовал себя героем, а в глазах матери, сестер и Каролины он и в самом деле приобрел нечто героическое оттого, что читал “Бородино” перед самым “стариком”.

Однако ночные посещения каролининой комнаты не остались бесследны для здоровья Жоржа. Он бледнел, худел и наконец как-то вечером почувствовал такую боль и ломоту во всем теле, что его уложили в постель. Через три дня он был в нервной горячке. Он метался, кричал и бредил женщинами. Каролина в испуге, чтобы мальчик не проговорился в бреду, сама ухаживала за ним.

Когда кризис прошел и мальчик стал поправляться, Каролины уже не было в доме. Мать бранила ее пред Жоржем, называя гадкой. Жорж покраснел и не сказал ни слова.

Военная гроза надвигалась все ближе и

ближе[10]. По улицам возили пушки, двигались солдаты, матросы. Лица всех сделались серьезнее, сосредоточеннее, тише. Уже не слышно было, что “шапками закидаем”; готовились к чему-то нешуточному; генерал, как говорила прислуга, “осел”. С солдатами стал мягче, точно подделывался к ним. Семья генерала торопилась уезжать, а Жоржа собирались отправить в Петербург, в казенное заведение. Жорж от души радовался. Он уже забыл о Каролине и перед отъездом в Петербург так назойливо приставал к толстогрудой жене кучера, поймав ее в саду, что та, вырвавшись наконец, дала ему звонкую пощечину, прибавив крепкое словцо, при веселом хохоте работавших в саду арестантов.

Жорж бросился было за ней, но жена кучера показала ему такой здоровый кулак, что Жорж зарыдал в бессильной злости и поклялся, когда будет офицером, отпороть эту “мерзавку”.

Он так и сказал “отпороть”, не ожидая, что к тому времени Пелагея уж будет “временно-обязанная”.

— Повернись-ка?! Молодцом, молодцом, брат! Привык? Потасовку задали, а? — весело говорил старый дядя сенатор, подняв на свой большой, плешивый лоб золотые очки и добродушно посмеиваясь, когда Жорж вечером в первую же субботу явился из заведения в отпуск, в новом шитом мундирчике.

— Отцу писал, молодец?

— Писал, дяденька!

— Хорошо... хорошо... Есть хочешь?..

— Благодарю, дяденька. Не хочется.

— Ну, как хочешь. Когда я был кадетом[11], я всегда хотел есть!.. Ладно, ладно. Ступай теперь к тетке, ступай, дружок! — заметил старый сенатор. Он ласково потрепал Жоржа по щеке и, опустив со лба очки, продолжал свои занятия за большой военной картой.

Жорж вышел из большого дядиного кабинета, прошел большую залу и остановился на пороге гостиной, слабо освещенной матовым светом лампы.

За большим круглым столом, на диване, сидела за работой красивая, пышная брюнет-

ка лет тридцати, в изящном сером шелковом платье. Она подняла глаза и приветливо улыбнулась. Жорж быстро прошел по ковру и поцеловал протянутую ему выхоленную белую руку, сияющую кольцами, с розовыми, красиво отточенными ногтями.

– Здравствуй, Жорж. Ну что, мы привыкли?

– Ничего, тетенька, привык! – несколько робея говорил Жорж, повертывая во все стороны свою каску.

– Не называй меня тетенькой, Жорж, а просто: ma tante. Да что ты вертишь все свою каску? Вертеть не надо, мой милый! Ты не сердись, а я возьму тебя в руки и из такого красавца, как ты, сделаю образцового молодого человека. Хочешь? – говорила тетка, строго улыбаясь своими большими синими глазами.

– Хочу, ma tante...

– И прекрасно... А теперь покажите нам свои лапки?

Жорж, конфузясь, протянул свои руки.

– Руки у нас прелестные, но ими надо, мой милый, заниматься. Во-первых, мыть их чаще, а во-вторых, чистить ногти. Нельзя же,

дружок, ходить с грязными руками... ты не мужик! Ступай ко мне в комнату, вымой их и потом приходи.

Жорж, краснея от стыда и досады, пошел в теткину комнату, вымыл руки, подстриг ногти, тщательно вычистив их, и, вернувшись в гостиную, показал свои чистые руки.

– Теперь наши прелестные лапки в порядке. Разве вихор твой кудрявый поправить? – Она осторожно пригладила вихор. – Вот мы и молодцами! Теперь садись и рассказывай, как ты провел свою первую неделю.

Воспоминание об этой неделе с утра терзало Жоржа. Это была ужасная неделя. Его там два раза побили, подняли на смех, дразнили “крымским баранчиком”, и когда он попробовал драться, то ему задали такую встрепку, что, при воспоминании о ней, Жоржа охватило чувство злобы и горя.

Он начал было рассказ, но вдруг судорога сдавила горло и слезы подступили к глазам. Несмотря на сильное его желание не разрешиться перед блестящей тетенькой, в этой изящной гостиной, он не мог удержать слез и быстро утирал их платком, стараясь заглу-

шить судорожные всхлипывания.

– Что с тобой? Что ты, милый мальчик? – мягким, но безучастным голосом спросила тетка, подымая от вышивания глаза на Жоржа. – Подойди ко мне!

Жорж осторожно подошел.

– Расскажи о твоём горе... расскажи тетке! – продолжала она, протягивая Жоржу руку осторожным движением, как бы боясь подпустить его поближе, чтобы он не смял и не закапал слезами её изящного платья. – Жаль папан!.. Ты ведь её баловнем был? Не плачь, мой милый! Я тебе заменю папан, хочешь? – задала она вопрос уверенным тоном, что вполне осчастливила мальчика предложением заменить папан.

– Хочу... ma tante!

– Ну, и плакать нечего... Не все же тебе сидеть в вашем С... Такой большой молодой человек и плачет!.. Стыдно... Глаза покраснеются... Вытри слезы... вот так! Это у тебя казенная тряпочка? – брезгливо дотронулась она ноготком мизинца до платка Жоржа.

– Казенная...

– Скверные платки! Я тебе сделаю дюжину

батистовых, когда будешь приходить к нам, бери их, а пока возьми мой и утри свои хорошенькие глазки. Твоя мама давно мне о них писала... Ну, перестань же... Экий ты нервный какой... Посмотри на меня! Ну? Можем мы улыбнуться? – говорила тетушка, слегка трепля Жоржа по щеке.

Но Жорж, хотя и вытер слезы, но не улыбался.

– Ну, теперь садись... Нельзя же, мой милый, быть таким нытиком!

Жоржа сердило обращение этой “гордой тетки”, как он мысленно уже окрестил ее, и он решил не выдавать своего горя и не рассказывать о своих несчастьях прошлой недели. Ему хотелось как можно скорей доказать ей, что он вовсе не несчастный мальчик с грязными руками, каким она его считает, а взрослый, рассудительный молодой человек, который, если на то пошло, сумеет скрыть свои страдания и может вести такой разговор, как и тот адъютант, который так поразил его еще дома.

“И что, в самом деле, она себе воображает? Думает, что красивая да что брильянты на ру-

ках, так и важничает? Я ей покажу, каков я... Пусть она узнает и не думает, что я все верчу каской и не имею порядочных манер!”

Так размышлял Жорж, не без злого огонька в темных глазах, поглядывая исподлобья на тонкие тетушкины пальцы, которыми она быстро перебирала шелковинки.

– О чем это мы задумались... о татам?

– Нет, ma tante... Я сейчас вспомнил о Несветове, – как бы готовясь в бой, с нервной резкостью в голосе, ответил Жорж.

– Это какой Несветов... адъютант и красавец?..

– Да, ma tante, адъютант. Мы с ним были очень дружны! – вдруг солгал Жорж, желая поразить тетку. – Он очень порядочный человек...

– Он у вас часто бывал? – заметила тетка, с улыбкой вглядываясь в Жоржа.

– Почти каждый день.

– Вот как? За кем же он ухаживал? За какой из твоих сестер, за Anette или за Varbe?

– Кажется, Варя с ним больше кокетничала, ma tante! – засмеялся Жорж.

– А ты разве понимаешь, как кокетнича-

ют? – любопытно усмехнулась тетушка, начиная слушать племянника с большим интересом. – Что, разве она хороша, твоя Варя?..

– Все находили, что очень, и что она на вас похожа, ma tante! Но... но вы лучше, – слегка краснея, тихо промолвил Жорж.

Довольная улыбка мгновенно скользнула в синих строгих глазах тетки. Жорж отлично это заметил и понял впечатление своих слов, хотя тетка сделала серьезную мину и, поправляя грациозным движением руки свою прическу, строго проговорила:

– А мы уже выучились говорить глупости?

– Разве говорить правду значит говорить глупости, ma tante? – спросил Жорж тоном наивного ребенка.

Она еще строже взглянула на Жоржа, но он не опустил под этим строгим взглядом своих больших черных глаз. Улыбаясь ими, он с наивной смелостью глядел ей прямо в лицо. Так прошло несколько секунд. Жорж видел, как сперва покраснели ее уши, как яркий румянец, пробиваясь сквозь тонкую, белую кожу щек, подступал к самым глазам. Она отвернула сердито глаза, точно изумляясь, что

глупый мальчик мог заставить ее покраснеть, резким движением схватила со стола моток шелку и, подавая его Жоржу, не глядя ему в глаза, сказала:

– Лучше помоги мне распутать шелк, гадкий мальчишка!

Хотя слова эти были произнесены тем же строгим тоном, но Жорж очень хорошо уловил значение их и понял, что она не считала его теперь “гадким мальчишкой”, и торжествовал, что показал себя “этой гордячке” с такой хорошей стороны.

В десять часов собрались гости: три дамы и несколько молодых людей. Сидя поодаль в кресле, Жорж жадно ловил прелесть французской болтовни, неподражаемую пикантность светской сплетни и, пожирая глазами веселых, находчивых дам и красивых, ловких, изящных молодых людей, напомнивших ему блестящего адъютанта, которые так свободно и остроумно говорили о танцовщицах, рысках и княгинях, он чувствовал какое-то блаженство гордости, что мог ощущать прелесть этой полутемной гостиной, этих душистых дам и кавалеров, этого неуловимого аромата

комнаты, щекотавшего его нервы.

Дядя сенатор вошел в гостиную, поправляя очки, сказал всем по ласковому слову и, как-то кисло морщась, извинился, что занятия мешают удовольствию быть с гостями подольше. Жорж заметил, что при входе дяди все как будто присмирели, подтянулись, стали говорить тише... Разговор перешел на войну... Грустно покачивая головой, дядя рассказывал одному адъютанту о последнем сражении.

– А солдаты наши, солдаты! – с каким-то гордым благоговением говорил низенький старик, поправляя одной рукой очки, а другой дергая адъютанта за пуговицу. – Не будь их... срам... один срам... И везде... везде... Да, – понизил он голос, – и для героев есть невозможное, особенно когда...

Он стал что-то тихо говорить тому самому адъютанту, который только что перед приходом старика рассказывал дамам самый свежий анекдот о Мила.

– Бедный народ! – заключил, вздохнув, сенатор.

Он похвалил дам за то, что они не сидят без дела, а щиплют корпию[12] (у всех было

по маленькой грудке), и, заметив в углу Жоржа, подошел к нему.

– А ты, молодец, еще не спишь? Пора, мальчик, спать, пора! Вера! – обратился он к жене, – мальчику пора спать, что ему тут делать?

И, когда Жорж поднялся с кресла, дядя перекрестил его и поцеловал в лоб, быстро отдернув руку, когда Жорж наклонился для поцелуя.

– Спи с богом, дружок! Помолись богу! – ласково проговорил старик и, озираясь все с той же кислой улыбкой, вышел из гостиной, сделав всем общий поклон.

Жорж не без грусти ушел из гостиной и заснул с мечтой о вороной лошади, на которой он делает смотр войскам. “Гордая тетка” смотрит, любуясь им, с балкона и сердится, что он не обращает на нее никакого внимания. Задорный стрижка-кадет, по милости которого он получил встрепку, преклонился перед Жоржем и униженно отдает ему честь. Но Жорж великодушно подает ему руку и говорит: “Ничего, ничего... я не сержусь, я все забыл!”

На следующее утро Жорж особенно внимательно занялся туалетом. Ему непременно хотелось показать тетке, что он и без нее умеет держать себя, как следует порядочному молодому человеку. Он не хотел ударить лицом в грязь и долго приглаживал перед зеркалом свои волосы и занимался ногтями. Окончив туалет, Жорж еще постоял перед зеркалом, принял несколько поз, которые так нравились ему в адъютанте, перепробовал несколько выражений лица – ему ужасно хотелось, чтобы оно было серьезное, и, пожалев, что у него еще нет усов, он все-таки пригладил свои губы рукой, как будто поправляя усы, и пошел в столовую.

Когда стройный, красивый, свежий отрок молодцевато вошел в столовую и, слегка краснея от застенчивого волнения, подошел к руке тетки и поцеловался с дядей – и дядя и тетка словно не узнали в этом стройном, изящном, румяном молодом человеке вчерашнего, еще робеющего мальчика. Они оба не могли скрыть приятного впечатления от той красивой, здоровой свежести, которую внес в сто-

ловую Жорж, и невольно любовались им.

– Молодец, молодец. Бравый мальчик! – весело говорил сенатор. – Он, Вера, отца напоминает!..

– По-моему, скорее мать!.. Ты чего, Жорж, хочешь: чаю или кофе?

– Кофе, ma tante!

Он так ловко отодвинул стул, так прилично сел и с таким изяществом пил свой кофе, что Вера Алексеевна не могла не согласиться, что Жорж очень приличный мальчик, из которого выйдет человек. Он бойко отвечал на вопросы дяди, так что дядя просидел за столом лишние пять минут, забавляясь его шустрой болтовней о военных делах. Вставая, он сказал, что “возьмет мальчика в церковь”, и снова прибавил, что Жорж “молодец”.

Вера Алексеевна, в своем белом капоте, с широкими рукавами, из-под которых далеко виднелись белые голые руки, с распущенными прядями волос, перехваченных пунцовой лентой, сегодня показалась Жоржу и моложе и не такой гордой, как вчера. Она весело болтала с Жоржем, расспрашивала, кто ему понравился из вчерашних гостей, шутила, не

влюбился ли он в “кузину Лину”, и вдруг нахмурилась, покраснела и обдернула рукав, поймав пристально любопытный взгляд, устремленный на ее оголенную руку.

Пойманный врасплох, Жорж покраснел до ушей и невольно опустил глаза... Тетка взглянула на него, улыбнулась и подумала, что мальчик еще прелестнее, когда краснеет.

Скоро она встала и не говорила почти целый день с Жоржем. Только вечером, одеваясь на бал, когда Жорж пришел проститься с ней, она весело спросила его, повертываясь перед ним в красивом бальном платье:

– Хорошо платье?

– Прелестное, ma tante! – отвечал Жорж, свободно любуясь платьем, ее голыми руками, спиной, шеей, на что она уже не сердилась, а как-то странно улыбалась, щуря глаза и как бы восхищаясь очарованием мальчика.

– Идет?.. – повертывалась она перед ним, точно желая продлить его очарование.

– Еще бы! В нем, ma tante, вы будете царицей бала! – шептал Жорж.

– Ты льстишь, скверный мальчишка! Ну, прощай до субботы!

И Вера Алексеевна вдруг приняла тон матери, как-то торжественно перекрестила Жоржа и, целуя его, наставительно заметила:

– Смотри же, Жорж, веди себя хорошо, учись прилежно, будь добрым мальчиком и не огорчай свою тетку!

Жорж обещал быть добрым мальчиком и несколько раз с особенной нежностью покрывал поцелуями теплую, маленькую тетушкину ручку. Она не торопилась отдернуть ее, поправляя другой рукой белый цветок в волосах, и потом, как бы спохватившись, отняла руку и снова посоветовала Жоржу быть “добрым мальчиком”.

Когда “добрый мальчик” ехал в дядиной карете в “заведение”, перед его глазами еще долго мелькали шея и плечи красивой тетушки, и он долго еще вдыхал душистый аромат ее будуара.

VI

Жорж скоро освоился с “заведением”, полюбил его и поладил с товарищами. Он недурно учился, скоро сделался первым по фронту и почему-то пользовался особым расположением ротного командира.

Через год Жорж уже сделал сто рублей долга сапожнику, портному, лихачам и уже успел познакомиться с одной маленькой актрисой из французского театра, о чем с гордостью рассказывал товарищам. От своего отца он получал ежемесячно “на булки” по десяти рублей, да дядя сенатор давал ему столько же, но, разумеется, этих денег не хватало. В заведении было много богатых молодых людей, которые свободно мотали деньги и делали долги, и Жоржу стыдно было не мотать денег и не делать долгов, стыдно перед товарищами, стыдно перед собой.

В письмах к матери он описывал свое положение, говорил о “позоре фамилии Растегай-Сапожковых” и просил денег. “Ведь я, мамаша, не могу отстать от других, ведь не ехать же мне в казенном мундире к княгине

Таракановой, у которой бывают аристократы и сам светлейший Оболдуев”.

Мать вполне сочувствовала Жоржу, послала, сколько могла, и просила отца увеличить месячное жалованье, выставляя на вид фамилию Растегай-Сапожковых, но генерал прикрикнул и велел матери написать, что он попросит, чтобы молодого Растегай-Сапожкова выпороли за то, что он “дурит”.

Жорж сердился на своего “старика”, который, по его мнению, “выжил из ума и не понимает требований жизни”. Он делал долги, занимая у швейцара, у сторожей, и даже свел знакомство с ростовщиком, который ссужал его деньгами за сумасшедшие проценты.

В пятнадцать лет Жорж уже умел презрительно щурить глаза, вглядываясь на проезжающих, и, кутаясь в бобровый воротник, катить по Невскому от Аничкова моста на рысаке, похожем на “собственную лошадь”. Он ловко прикладывал руку к каске, свободно выпивал бутылку шампанского, пел французские шансонетки, слегка грассировал, нагло третировал известного сорта дам и умел взглядывать на женщин тем светлым, наг-

лым, смеющимся взглядом прелестных черных глаз, который нередко вызывал невольную краску на их щеки. Благодаря расположению начальства, такту и способности показать себя, он был всегда на виду, ходил на ординарцы и мечтал через два года надеть давно желанный мундир, хотя и сомневался, что вряд ли отец согласится давать такое содержание, чтобы Жорж мог с честью носить этот мундир и не стесняться платой в ресторанах. Он знал, что у отца есть рязанское имение, следовательно должны быть деньги, кроме жалованья; но велико ли состояние, сколько приносит дохода это имение, он точно не знал и только вполне сознавал, что ему нужны деньги, что нельзя же в самом деле ему, молодому, изящному Жоржу Растегай-Сапожкову, быть без денег. На что же он будет посещать общество, оперу, рестораны, францушек? И разве прилично ему ездить на извозчиках, когда его товарищи, далеко не такие умные, красивые и ловкие, как он, ездят в своих экипажах и уже имеют содержанок? Все это должно у него быть и все это откуда-нибудь да придет: не то из рязанского име-

ния, не то как-нибудь да устроится... И он всем говорил, что отец его богач, причем “рязанское имение” представлялось в его рассказах каким-то Эльдorado[13], из которого золото текло обильным источником. Говоря об этом товарищам, он сам верил тому, что говорил, и, надеясь на что-то, занимал деньги на лихачей, на рестораны, на веселые пикники, в полной уверенности, что все эти долги заплатятся. И долги росли быстро, так что он сам испугался, когда ростовщик потребовал уплаты пятисот рублей.

Жорж продолжал почтительно ухаживать за теткой и нередко брал у нее деньги, а Вера Алексеевна продолжала кокетничать с той искусной манерой женщин за тридцать лет, которые сводят с ума молодых мальчиков. Сперва она разыгрывала роль “второй маман”, но когда у “мальчика” стали пробиваться усы и он, вздрагивая, взглядывал на ее шею, она краснела, сердилась, драла его за уши, смеясь, когда он горячо целовал ее руки, и становилась с ним на ногу “старшего друга”. Она любила спрашивать, с кем он зна-

ком, советовала ему не знакомиться с “этими дамами”, то требовала, чтобы он рассказал “все... все...”, то вдруг сердилась, когда Жорж описывал ей красоту Сюзеты, с которой ужинал, капризно поджимала губы и, как бы невзначай, спускала с плеч косынку, показывая Жоржу шею и тяжело дышавшую грудь. Когда Жорж, лукаво улыбаясь, говорил, что он “невинный мальчик”, она снова впадала в тон “второй маман”, наставляла его на путь истины, советуя не быть испорченным и гадким мальчиком, и зажимала наглухо улыбку Жоржа своей влажной ладонью. Она ревниво следила за ним, когда знакомые дамы бывали особенно любезны с Жоржем, и дулась на него, если он часто уходил из дому “к товарищам”.

Вера Алексеевна считала себя женщиной строгой добродетели, и ни одна тучка не омрачила ее супружеского счастья. Она дорожила репутацией, считала мужа “добрым старичком” и избегала опасностей увлечения; но эта заманчивая игра с “птенчиком”, игра, которая не могла быть предметом сплетни, манила ее. Она желала одного рыцарского обо-

жания, она и мысли не допускала о чем-нибудь другом и в то же время она, к изумлению своему, чувствовала, что сердце ее бьется, как птица в клетке, когда она ощущала близость горячего дыхания юноши. Ей нравилось играть с Жоржем, то вызывая краску волнения на его щеки, то обливая его холодной водой строгих нравоучений. Она и сама не замечала, как мало-помалу увлекалась этим юношей с любопытством неудовлетворенной жены и с расчетом опытной светской женщины, уверенной, что это увлечение не нарушит спокойствия жизни. Да наконец ведь это так пикантно видеть всегда около себя такого свежего, неиспорченного мальчика! Он еще невинный мальчик, и разве не от нее, тридцатитрехлетней женщины, зависит всегда удержать его на той границе почтительного обожания, которое дальше краски волнения и робких поцелуев не идет? Ведь она не молодая девочка!..

Так, обманывая себя, отгоняя от себя с презрительной усмешкой всякую мысль о том, что Жорж стал ей как-то опасно близок, она нередко удерживала его по вечерам дома и,

сказавшись больной, надевала капот, распускала волосы и, лежа на кушетке, заставляла Жоржа читать ей вслух французские романы.

Сперва эти “чтения” шли довольно спокойно, прерываемые сыновними лобзаниями и материнскими поцелуями, но как-то раз, когда Вера Алексеевна, выставив свою маленькую ножку, в крохотной туфле, слишком резко играла носком и слишком выразительно взглядывала своими прекрасными синими глазами, “чтение” кончилось так неожиданно, что когда на следующее утро Жорж, как ни в чем не бывало, почтительно подходил к ручке “*ma tante*”, Вера Алексеевна стыдливо опустила глаза, долго не могла поднять их на милого мальчика и не пускала его к себе на глаза целое воскресенье.

Однако, в первый же вечер, когда Жорж пришел из заведения, она снова пригласила его читать, хотя и предупредила, лукаво посмеиваясь и слегка щипля за ухо, чтобы он не был гадким мальчишкой.

Сенатор, по обыкновению, сидел в своем кабинете за книгами и картами и искренно был рад, что жена в последнее время стала до-

моседкой и была в хорошем расположении духа.

VII

Долги опутывали молодого человека густой сеткой. Требовали уплат, грозили жаловаться начальству. Жорж писал матери, но присылаемые деньги были каплей в море. Он решился сказать тетке о своих долгах; та изумилась цифре долга, ревниво допрашивала с придирчивостью любовницы, куда “мальчик” истратил столько денег, и заплатила его долги, сделавши долг сама и взяв с него торжественную клятву, что он никогда не будет ужинать с “этими тварями”. И, чтобы вознаградить его и узнать самой прелесть ужина в ресторане, она однажды поехала вместе с Жоржем в ресторан в наемной карете и восхищалась удивлением Жоржа, что “ma tante” еще прелестнее после выпитой вдвоем бутылки шампанского. Они покутили как добрые товарищи, она с любопытством неизведанного удовольствия, он с торжеством счастливого любовника. Им было весело, к тому же оба были навеселе и, расставаясь, согласились еще раз попробовать поужинать вдвоем.

Хотя Вера Алексеевна нередко платила

долги Жоржа, но под конец долги накопились до почтенной суммы в тысячу рублей. Жорж рассчитывал на тетку и не особенно заботился о том, что будет впереди. Еще несколько месяцев и он будет офицером, а там все пойдет как по маслу.

Это было месяца за два до выпуска. Богатые товарищи собирались устроить замечательный кутеж с десертом в виде одной знаменитой француженки, согласившейся возлежать на столе *au naturel*. Решено было устроить пирушку в ближайшее воскресенье. Разумеется, Растегай-Сапожков должен быть там непременно, дело было за какими-нибудь пятьюдесятью рублями. На беду их не было, занять было негде: тетка, как нарочно, уехала за несколько дней в Москву. Спросить у товарищей, сознаться, что он затрудняется в таком пустяке, ведь это... стыд, такой стыд, что об этом и думать нечего... Он просил у швейцара, у солдат, у каптенармуса, готов был за пятьдесят рублей дать расписку на пятьсот, но денег не достал: ему не дали, несмотря на самые заискивающие просьбы.

Жорж был в отчаянии, в настоящем отчая-

нии. Не быть на пирушке, отсутствовать, чтобы сказали, что у бедняги нет денег, – возможно ли перенести такой позор, именно позор! Как ни трусил Жорж своего дядю, но он решился обратиться к нему и с этой целью поехал к сенатору утром в воскресенье. На беду дяди не было дома. Ему сказали, что он уехал с утра. Он в волнении ходил по зале, посматривая на часы. Уже первый час. Досадно. Он снова начал ходить, то прислушиваясь к стуку карет, то подходя к окну. Он перешел в большой дядин кабинет – оттуда скорей увидишь дядину карету! Пробыл час. Он опять заходил, проклиная сенатора, что тот долго ездит. И надо было ему уехать! Сидел бы за своим столом, за своими дурацкими книгами. Машинально он взглянул на большой стол – книги везде, одни книги, но внизу, под одной из книг, он заметил футляр. Что это? Звезда Белого Орла[14]. Верно, забыли спрятать в комод? Эти вещи всегда в комод. Впрочем, дядя так рассеян... Он раз куда-то так запрятал алмазную звезду Александра Невского[15], что, когда надо было надеть ее, звезду нигде не могли найти и только через несколько часов

общих поисков ее отыскиали в китайской коробке, где лежали шахматы. А красивая эта звезда Белого Орла! Жорж приложил ее к груди. Идет, ничего! Однако пробила половина второго. Черт знает, отчего этот “лысый черт” не едет! Он повертывал звезду в руках, и вдруг мысль, как молния, блеснула в голове. “Взять?..” Ведь никто не осмелится и подумать? Одна мысль, что могут подумать на него, привела его в негодование. “Скверно, подло!” – шептало что-то внутри, и кровь сильно стучала в виски. “Я заложу, выкуплю и положу на место! вопрос в дне, в двух. До того времени не хватятся, а хватятся – на него не осмелятся подумать”... Господи! Уже третий час. Он быстро выдернул футляр, сунул в него звезду, опустил в карман, повернулся и – на пороге кабинета увидел дядю сенатора.

По глазам его он понял, что старик все видел. Впрочем, быть может, ему показалось. Он решил взглянуть снова. Строгие глаза глядели на него из-под очков с таким презрением, что Жорж замер от страха.

Несколько мгновений длилось это убийственное молчание.

– Если бы ты не был сыном моего брата, я бы...

Старик не мог продолжать. Он перевел дух и только глухо проговорил:

– Вон отсюда!

Жорж бросился в ноги и пробовал схватить колени с жалобным воем пойманного щенка.

Старик брезгливо отодвинулся, словно под ногами была гадина, и, уныло качая головой, прошептал:

– И это будущий слуга отечеству!? Это Растегай-Сапожков... Встань! Не валяйся в ногах и выслушай! Никогда про это никто не узнает!.. Бедный брат! – шепнул старик, отирая с усов скатившуюся слезу. – Исправься, если можешь, но чтобы ноги твоей у меня не было, слышишь!? Да пришли список долгов, я заплачу!

Жорж сунул на стол футляр и вышел из кабинета. Стыд и злоба давили его невыносимой тяжестью.

Старик заперся в кабинете и не вышел обедать.

Когда приехала тетка и спросила о Жорже,

старик не велел произносить его имени. Вера Алексеевна похолодела от страха и в тот же вечер поехала в заведение. Узнав, в чем дело, она пожалела “мальчика” и рассталась с ним, обливаясь слезами. Она несколько раз еще виделась с племянником тайком и долго потом грустила, вспоминая горячие поцелуи и юношеский пыл страсти своего первого и последнего любовника.

VIII

Веселая это была пора, когда Жорж надел Щегольской офицерский мундир, хотя и не того цвета, о котором мечтал. Отец и думать о нем не велел и, посылая деньги на первое обзаведение, обещал высылать по сту рублей в месяц. Затем, поздравляя его, он наказывал быть “честным офицером и вести себя так, чтобы старшие любили, равные уважали, а младшие почитали”. Относительно будущего генерал советовал “Георгию” ни на что не рассчитывать. После смерти он получит десять тысяч, “а на имение нечего надеяться, так как вас много, а имение одно”.

Несмотря на такие предостережения, жизнь Жоржа шла обычной, веселой волной. Утром учение, приятельские завтраки, несколько визитов, гонка рысаков на Невском, обеды дорогие, тонкие, вкусные, театры, вечера, балы, ночи с женщинами... На следующий день то же самое, на третий день опять то же... Такая жизнь втягивает, как воду губка. Весело, пусто, приятно... На него любовались дамы, и ему верили в долг даже кокотки.

Так он был мил, остроумен, красив и сыт. Он весело прожигал жизнь, весело летал по Невскому, делал визиты, сидел в балете, дарил дорогие букеты, подписывал векселя, на что-то рассчитывая и на что-то надеясь. Он с детских лет привык есть четыре блюда и пирожное, все это было всегда, изо дня в день, и ему просто казалось дико не есть обеда из четырех блюд и не запивать его вином. Одинаково смешно было ему не сидеть в первых рядах. Его все знают, ему все так ласково кивают головой, когда он, слегка позвякивая шпорами и придерживая саблю, проходит уверенной молодецкой походкой к своему креслу в первом ряду, где он, пожимая руки приятелям, чувствует себя как дома. Да лучше он совсем не пойдет в театр, чем забьется в девятый ряд.

Глядя на Жоржа, блестящего, румяного, круглого, сытого, всегда показывавшегося на первых представлениях, бывавшего в обществе, игриво кивавшего кокоткам, глядя на его серого рысака, на его изящную маленькую квартиру, на его камердинера-немца, всякий считал его за богатого человека. Кре-

диторы еще верили в “рязанское имение”, и Жорж ухаживал, обедал, веселился и подписывал векселя.

Еще Жорж потягивался на кровати, когда однажды немец подал ему письмо. Мать извещала о тяжелой болезни отца и звала его немедленно приехать. Жорж в тот же день выехал и застал генерала на столе, а мать – в слезах. Оказалось, что “рязанское имение” при разделе между братьями и сестрами такой пустяк, о котором и говорить не стоит. Жоржу досталось только пятнадцать тысяч и часть в имении тысяч в девять. Он был в бешенстве. Он почему-то ожидал большого состояния – и вдруг какие-нибудь пятнадцать тысяч! Он бранил “старика” и упрекал мать. Мать плакала и по-прежнему объедалась конфетами. Холодно простившись с матерью, Жорж приехал в Петербург. Векселя уже ждали его... Грозили подать ко взысканию. В три года офицерства он сделал пятьдесят тысяч долга. Платить было нечем. Кредиторы наконец подали ко взысканию.

Жорж принужден был выйти в отставку и

спасаться от долгового отделения.

Надев статское платье, Жорж чуть не плакал с досады, оглядывая себя в зеркале. Конечно, он и в статском хорош, он быстро сумел усвоить “статскую посадку” и оделся у хорошего портного, но то ли дело мундир?

Мать отдала своему любимцу последние крохи, оставленные генералом, и звала его к себе, в укромный уголок на юге, где они могли бы жить скромно, но Жорж только фыркнул, читая эти строки. Разве он, блестящий Растегай-Сапожков, должен погрязнуть в какой-нибудь провинции, есть ленивые щи, пить кисленький медок в двадцать копеек и жениться на какой-нибудь глупой девчонке?

Нет! Он еще верил в свою звезду и все ждал, ждал какого-то необыкновенного события, которое даст ему возможность показать себя во всем блеске. А пока жизнь еще шла по-прежнему. Обстановка не менялась, еще рысак не был продан, хотя каждое утро и приходилось вести невыносимые беседы с кредиторами. Он уговаривал, грозил, врал про состояние матери, указывал, нагло посмеиваясь, на свой красивый торс и снова переписывался с кредитором.

вал и подписывал вексельную бумагу широким размашистым росчерком, вполне уверенный, что не “померкла его звезда” и не из-за чего ему губить молодость. Ведь он хорош, бесподобно хорош, как говорили про него в обществе, ведь он неглуп... неужели же ему так-таки и отказаться от жизни и поступить на службу на пятьдесят рублей жалованья? Эта мысль даже рассмешила его. Он числился в какой-то канцелярии, куда, конечно, никогда не заглядывал, ездил еще на рысаке, но зато как-то внимательно вглядывался в лица богатых пожилых вдов, которые с такой любознательностью оглядывают красивых, плечистых молодых людей с томными глазами.

И звезда снова вошла над молодым человеком...

Это было в театре. Жорж сидел с приятелями в ложе и заметил, что из соседней ложи его так пристально разглядывала, словно барышник статного жеребца, сухая, пожилая, некрасивая женщина восточного типа, что даже Жорж покраснел и отвернулся. Однако “восточная женщина” раза три внимательно взглянула на Жоржа и, указывая на него, о

чем-то шепталась с мужчиной, бывшим у нее в ложе. Выходило уж очень глупо. Жорж хохотал и вышел из театра не в духе.

Через несколько дней к Жоржу зашел Пильсон, не то еврей, не то датчанин, ростовщик и маклер, торговавший фортепианами. Маленький, черненький, аккуратный и чистенький, он был верным спутником каждого блестящего молодого человека, доставал деньги, продавал по случаю сигары и устраивал свидания. Он наживал деньги и получал оскорбления; первые он уважал, ко вторым относился с презрением; через его руки прошел не один десяток “юношей”, которых он устраивал или сажал в долговое. Он был аккуратен, вежлив, терпелив и знал все языки. Сколько ему лет – никто не знал, ему можно было дать и сорок и тридцать; его можно было счесть и за испанца, и за француза, и за немца. Он называл себя датчанином, но был выкрещенным евреем. Жорж давно уже был знаком с г.Пильсоном и при виде его нахмурился.

– Опять? Ведь вы и передохнуть не дадите, Пильсон. Ведь это черт знает что такое!

Но Пильсон, улыбаясь, объявил, что он по другому делу.

– Вы извините, Егор Николаевич, вами очень интересуется одна барыня.

– Хороша?

– Гмм... Нельзя сказать, чтобы очень, но зато богата.

– Молчите. Верно, опять какую-нибудь пакость предложите?

– Боже меня сохрани... Зачем?.. Очень вами заинтересовалась... Вдова, знаете ли, пыл этакий южный... влюблена, как кошка.

– Ну и черт с ней!..

– Познакомьтесь-ка с ней, Егор Николаевич... право стоит. Состояние у нее громадное.

– Это значит, на содержание поступить?

– К чему такие слова!.. Просто полюбить, хотите жениться, а то и так... Она ждет вас, когда угодно!

– Убирайтесь вон... скотина! – вдруг вспылил Жорж и грозно поднялся с места.

– Напрасно бранитесь, господин Сапожков... напрасно... Я более не буду вас беспокоить лично, а пришлю своего поверенного получить по векселю долг, а если не получу...

– То что?

– Представлю кормовые[16]!

– Вон отсюда!

Но Пильсон знал Жоржа и уже вышел за двери, не забыв однако бросить на стол адрес “вдовы с южным пылом”...

Жорж озабоченно ходил по своей роскошной гостиной. Он нервно поводил плечами, щурил глаза, сжимал и разжимал свои тонкие изящные пальцы. То подходил к окну, внимательно вглядывался в снежные узоры на стекле, выводил по нем розовым ногтем мизинца какие-то цифры, то, быстро повернувшись на каблуках, снова принимался ходить грациозной, но нервной походкой... Он заметил на столе адрес, взглянул на него, спрятал в карман, велел подавать лошадь и поехал по адресу.

Прекрасная лестница. Великолепная квартира. Изящная гостиная. Его как будто ожидали, встретили любезно. “Восточная дама”, Авдотья Матвеевна, вдова откупщика, русская по происхождению, очень мило занимала гостя и пристально разглядывала свою покупку.

По-видимому, она осталась довольна Жоржем и просила бывать, когда вздумается. При посредстве Пильсона состоялся торг. За Жоржа уплачивали все долги и давали по две тысячи в месяц, но, прибавил Пильсон, “не надо забывать, что вдова ревнива, как может быть ревнива женщина в сорок пять лет... Завтра вечером вас ждут за решительным ответом!”

На другой день вечером Жорж поехал...

IX

Опять наступила масленица. Опять жизнь без забот, без волнений. Но теперь эта жизнь стоила уже дороже. Приходилось ежедневно посещать Авдотью Матвеевну, показываться иногда с нею в театрах, выдерживать сцены ревности, давать клятвы с полной уверенностью забыть их за порогом и, по временам, испытывать такие муки отвращения, когда Авдотья Матвеевна, горячо привязавшаяся к Жоржу, нежно гладила его по щеке и дарила деньги, – что вряд ли Жорж считал себя счастливым человеком...

Но переделать жизнь он был не в силах... Она тянула его к себе неудержимой силой, и ему так же невозможно было отказаться от нее, как невозможно пьянице отказаться от вина...

Перед его носом проходила жизнь шестидесятых годов... крестьянская реформа, общие надежды, оживление, но он этого ничего не видал. Он знал только, что реформа дала ему выкупные[17], и что какие-то, черт знает, студенты пишут там книги... Он желал карьеры,

но боялся труда... Если бы сразу его сделали товарищем министра, он бы еще, пожалуй, готов был бы “подписывать бумаги”, а то тянуть ляжку... Боже упаси! Он называл себя “консерватором”, потому что любил хорошее белье и платье; но что такое консерватор, он не знал. Он полагал только, что “либерал” – бранное слово, и что либералов надо сечь, потому что “они воображают”... Что они воображают – он не давал себе труда подумать, но он был вполне убежден, что “мы должны иметь средства, а они не должны”. Они в его глазах было все то, что ходит не в немецком платье... Он читал романы французские, русских книг почти не знал и раз даже сконфузил своих приятелей, наивно спросив, кто такой Тургенев... Он порицал гласный суд[18], потому что его могли поставить рядом с лакеем, а вообще ему до всего этого было мало дела... Ему хотелось жить так, чтобы все видели, что он живет, как следует жить порядочному человеку. Ведь надо же иметь и приличную квартиру, и лакея, и лошадь, и кресло, и обед с хорошим вином. Ко всему этому он привык с малолетства, а откуда все это бра-

лось и берется – он вряд ли мог точно ответить. Прежде, знал он, давали “крестьяне”, ну, а теперь, теперь... вероятно, те же крестьяне. На то они мужики. Им не надо шить платье у Тедески... Это было бы смешно. Кто не имеет средств от крестьян, тот получает жалованье... Хорошее жалованье, конечно, стоит брать, а маленькое не стоит, лучше жениться на старушке и ждать, когда она умрет.

В последнее время ему нравилось мечтать о получении сразу громадного куша денег... Взять бы, например, концессию. Что такое концессия – он доподлинно не знал, но понимал, что это “вещь очень невредная”, и если бы получить ее, то не надо бывать у Авдотьи Матвеевны. Он собирался подумать об этом серьезно, купил карту Российской империи и познакомился с дельцами средней руки. Дельцы видели, что Жорж алчен, но ленив, и только смеялись над ним и советовали ухаживать за концессией, если только она будет в руках какой-нибудь женщины, падкой до томных брюнетов... Но Жорж тем не менее раз часа два просидел за картой и провел прямую линию через всю Сибирь.

Он вел отчаянно безумную жизнь, давал вечера, держал дорогих лошадей, вел игру, был знаком со всеми. Никто не спрашивал, чем живет этот красивый молодой человек: имеет ли состояние, получил ли концессию, занимается ли фальшивыми ассигнациями или играет на бирже. Все дружески жали ему руку, похваливали его ужины, находили, что он порядочный человек, и на ушко говорили, что он на содержании. Он показывался всюду: в опере, на балах, даже на бирже. Он выучился играть. Его выучил Пильсон.

Авдотья Матвеевна журила его. Она грозила, что не станет платить его долгов. Тогда он разыгрывал роль страстного любовника. Она видела, что он лжет, презирала его и все-таки верила, бросаясь в его объятия. Ей верилось под боком этого дьявольски изящного молодца, от которого пахнет здоровьем, духами, шампанским – и она платила долги.

Но чем более она платила, тем ненасытнее становился Жорж, увлекшийся вдобавок какой-то француженкой и тративший на нее большие деньги. Опять неизменный Пильсон настоятельно просил уплаты пятидесяти ты-

сяч. Жорж поехал к Авдотье Матвеевне. Она сделала сцену и отказала. Он было пригрозил оставить ее. Она в ответ зло рассмеялась и сказала, что не боится этого. Он уехал. Авдотья Матвеевна плакала, но не звала его: сумма была очень большая. А Пильсон грозил снова. И вот в один из таких дней Жорж вместо денег выдал вексель с бланком Авдотьи Матвеевны. Он подмахнул подпись после веселого обеда. Потом спохватился, хотел было вернуть, но уже было поздно.

Через три месяца в будуаре разыгралась скверная сцена. Авдотья Матвеевна, злая на Жоржа за его связь с французской кокоткой, грозила судом.

– А ты разве не боишься скандала? Ведь тогда придется все рассказать, моя милая! – улыбаясь, пригрозил Жорж.

– Подлец неблагодарный! Вон отсюда! я заплачу вексель, но мы более незнакомы...

– И хорошо сделаешь, моя ненаглядная! А теперь addio, mio care!..[19] – весело смеясь, отвечал Жорж, посылая воздушный поцелуй.

Х

Жорж еще ждал, что за ним пришлют; но прошла неделя-другая, за ним не присылали. Он струсил. После трех лет этой бесшабашной жизни на счет Авдотьи Матвеевны – и вдруг опять ничего. Он сожалел, что не дал векселя на более крупную сумму.

Падение под гору пошло быстро. Мебель, лошади – все было в один прекрасный день продано с публичного торга. Жорж поселился в меблированной комнате и избегал встречи с знакомыми. Снова он вернулся к мысли о концессии, измарал несколько листов бумаги и надеялся. Ведь многие же получают. Многие, и не хватая звезд с неба, имеют отличное содержание при этих концессиях. Ну, хоть бы прежний закадыка Мишка Лештуков, ведь глуп и очень глуп, а напал на тридцать тысяч содержания, благодаря старухе, которая могла это устроить. Чем же он хуже? И отчего он не познакомился с такой старухой?.. Он злился, хандрил и советовался с дельцами третьей руки. Те пожимали плечами и улыбались...

Пильсон уже не давал денег. Авдотья Мат-

веевна не пускала Жоржа на глаза, так как купила другого Жоржа, свежей и моложе. Жорж опускался все ниже и ниже. Сперва его приютила одна француженка, потом прогнала его... Нужда грозила Жоржу, и он удивлялся, что находил вкусным обед в кухмистерских [20]... Он не показывался на больших улицах и отворачивался от знакомых. Он похудел и подурнел. С алчностью молодого волка глядел он на богатые экипажи, мчавшие богатых людей. Он злобно скалил зубы и мечтал еще отомстить, точно они были виноваты. Раз он встретил тетушку Веру Алексеевну. Та узнала его, сконфузилась и прислала двадцать пять рублей. Если бы не прачка, доверчивое существо, привязавшееся к Жоржу, он бы часто не обедал. Приходилось чуть ли не обкрадывать ее. И он ее обкрадывал...

Жорж подводил итоги. Ему двадцать шесть лет. Что делать?.. Нечего. Что он знает? Ничего. Оставалось поступить на службу... Теперь и служба казалась ему желанным исходом... По счастью, северо-западный край требовал свежих сил, Жорж написал тетке отчаянное письмо и, благодаря дяде, попал в число обру-

сителей...

Недолго он пробыл и там. Казенный сундук был как-то близко, а старые замашки не умерли. Он попал под суд и был уволен.

Тогда судьба окончательно толкнула его на тот путь, на котором он стоял еще с малых лет; он очутился в компании с такими же “обойденными дворянами”, которым не хватало мест с “приличным” содержанием, и ему пришлось проделать все, начиная от подделки фальшивых билетов, до воровства карманных часов.

И что это была за жизнь! Правда, выпадали времена, когда Жорж, развалившись в коляске, еще думал, что все изменится, что он выбьется же наконец и заживет, не опасаясь каждого городского, но это бывали редкие времена. Воруя, что попало, не зная цены украденного, он вечно трусил, вечно ждал, что его схватят... И его наконец схватили! “За что схватили его, а не Мишку Лештукова?” – промелькнуло у него в голове в момент прозрения.

XI

В арестантском халате, в голландской рубашке, с туго накрахмаленными воротничками, с закрученными в нитку усами, с отточенными ногтями, сидел Жорж на скамье подсудимых. Он потолстел, обрюзг, глаза потеряли прежний блеск, но все-таки это было еще “интересный брюнет”, на которого дамы с любопытством таращили бинокли. Он несколько сторбился и опустил голову, но когда поднимал ее, то держал прямо и глядел тем светлым, наглым взором, которым, бывало, восхищались дамы...

Прокурор говорил горячую речь, призывая громы небесные на Жоржа, но Жорж не слушал прокурора. Он разглядывал зрителей и, заметив среди них высокую, изящную брюнетку с седыми волосами, отвернулся и задумался.

И снова перед ним, как бывало в остроге, проносились картины прошлого. Жизнь дома, отец, мать, научившая его подглядывать за отцом, Каролина, развратившая его, тетка, старик дядя, “заведение”, кража звезды, по-

том блестящая жизнь, рысаки, содержанки, далее опять то же, потом нищета, служба и снова жизнь без труда, без содержания, без цели. И наконец...

Он в тысячный раз вспомнил, что он жил, живет и, вероятно, будет жить на чужой счет, никогда не думая, чтобы жизнь обязывала его к чему-нибудь. Ведь этого ему не говорили, когда он был еще мал, когда еще было время. Напротив...

И виноват ли он? И он ли один?.. Не целая ли масса людей выросла с тем же сознанием и с теми же привычками? Конечно, это праздный вопрос, но отчего же именно он в арестантском халате, а не вон тот зритель, прежний закадыка, который отличается от Жоржа разве только тем, что ворует не такие маленькие суммы...

– Подсудимый Растегай-Сапожков! Что вы имеете сказать в свое оправдание? – раздался голос председателя.

– Я... я... – начал было Жорж и остановился. – Я, конечно, виноват, но кто же из нас не виноват? Если бы, господа присяжные, вы знали мою жизнь, если бы вы поняли, что ме-

ня воспитали специально для того, чтобы сделать меня к пятнадцатилетнему возрасту мерзавцем... Если родная...

Тут Жорж не мог продолжать и зарыдал.

Вдова сенатора, бывшая проездом в Москве (она ехала на Кавказ проведать мать Митрофанию), тоже расчувствовалась, заплакала и не могла не сказать, что Жорж все-таки и в арестантском халате “порядочный человек”.

ПРИМЕЧАНИЯ ЧЕРВОННЫЙ ВАЛЕТ

Впервые – в журнале “Дело”, 1877, №№ 4-5, с подзаголовком: “Из современных нравов”.

Рассказ, по словам Станюковича, был написан по “горячим следам” уголовного процесса над “Червонными валетами” – молодыми авантюристами из привилегированных слоев общества.

Л.Барбашова

Сноски

1

...генерал достопамятной крымской эпохи... –
Имеется в виду Крымская война 1853-1856 гг.

[^^^]

2

...после каждого прихода в темный, мрачный кабинет с пожеланиями доброго утра и доброго вечера мальчику переменяли панталончики. – Подобная ситуация описана в VII главе рассказа “Грозный адмирал” (том 3 наст. издания).

[^^^]

3

...этого Вениамина семейства... – т.е. младшего и любимейшего сына. Вениамин – младший и самый любимый сын библейского патриарха Иакова.

[^^^]

4

Три листика – название карточной игры; ма-
рьяж – термин карточной игры, обозначаю-
щий совокупность двух карт – короля и дамы.

[^^^]

5

...*Валансьены* – кружева (франц.); здесь: сорочка, отделанная кружевами.

[^^^]

6

...по случаю ожидавшейся восточной войны...
– см. прим. к стр. 44.

[^^^]

...в город С. – Речь идет о Севастополе.

[^^^]

8

Неофит – новый приверженец какого-либо учения.

[^^^]

острыми словечками (франц.).

[^^^]

Военная гроза надвигалась все ближе и ближе.
– Оборона Севастополя началась 13 сентября 1854 года и продолжалась по 28 августа 1855 года.

[^^^]

Кадет – в дореволюционной России – воспитанник закрытого среднего военно-учебного заведения.

[^^^]

Корпия – перевязочный материал из разной нитяной ветоши, хлопковой или льняной.

[^^^]

Эльдорадо – легендарная страна, богатая золотом и драгоценными камнями.

[^^^]

Звезда Белого Орла – польский орден, с 1831 года вошедший в состав российских орденов.

[^^^]

Звезда Александра Невского – орден, учрежденный в Россия в 1725 году для награждения офицеров и генералов за военные отличия.

[^^^]

Представляю кормовые... – По тогдашним законам кредитор обязан был содержать на свой счет, т.е. выплачивать “кормовые” должнику, находящемуся в заключении (“долговая яма”) по его иску.

[^^^]

...реформа дала ему выкупные... – т.е. деньги, причитающиеся землевладельцам по “Положению о крестьянах...”, подписанному Александром II 19 февраля 1861 года вместе с манифестом о реформе.

[^^^]

Гласный суд – суд присяжных, введенный судебной реформой 1862-1864 гг. Назывался гласным между прочим и потому, что судебное разбирательство происходило в нем в присутствии публики.

[^^^]

до свиданья, мое сердце (итал.).

[^^^]

Кухмистерские – небольшие столовые.

[^^^]